

Сердце земли

Повесть

* * *

БА, Я ЧАСТО о тебе думаю. Правда. Вспоминаю тот день, когда ты оставила нас. За окном — краснеющий мартовский закат, синие сумерки, снег по обочинам дорог, а дома так жарко, невыносимо. Папа ходил без рубашки и часто, подолгу останавливался у окна, вытирал пот с загорелых плеч и смотрел, смотрел, не отрываясь, куда-то вдаль, туда, где солнце золотило крыши. Он плакал, но боялся показать нам, а мы крепилась, надеялись на что-то. Мама молилась и жгла свечи, от них становилось еще жарче. В один момент мне показалось, что улица замерла: машины встали перед светофором, уставшие от зимы прохожие остановились перевести дух. Сквозняк качнул колокольчик в прихожей и хлопнул дверью. Теперь я знаю — это ты покидала нас.

Был такой длинный день, когда ты умерла.

* * *

У меня все дни были такие же бесконечно длинные, милая. Сама подумай: лежишь без

движения, без слов, сердце рвется, когда вы заходите и смотрите на меня, и у вас слезы на щеках, я же вижу. Вот странно: уже почти ничего не видела, а ваши слезы так и сверкали перед глазами, так и сверкали, — больно смотреть. Я старалась улыбнуться, показать вам, что все хорошо, что я люблю вас как и прежде, и даже сильнее, но — не выходило, родные. Не выходило.

Не выходило даже пошевелить пальцами.

* * *

Я подолгу сидела с тобой и разглядывала твои сухие руки, словно сделанные из старых газет, и длинные, мозолистые пальцы, совсем ледяные на кончиках. Мне было так горько, что я никогда не спрашивала у тебя, как ты жила тогда, когда руки твои были еще белые и нежные, что ты делала этими руками, к чему прикасалась этими пальцами. Наверное, поэтому я все время что-то болтала, сидя на краю твоей кровати, на влажной простыне. И мне было все равно, слышишь ты меня, понимаешь ли.

* * *

Конечно, я все слышала, дочка, и мне так хотелось ответить, но я лишь еле шевелила губа-

ми. Я рассказывала тебе всю свою жизнь одним дыханием, одним движением губ.

А ты все время разглядывала мои руки, и мне было так стыдно за свою старость. Послушай, ты, наверное, не поверишь сейчас, но я была такой же, как и ты сейчас. И весна для меня была так же радостна и свежа.

Той весной мне исполнялось тринадцать, и яблони были особенно душисты, как мне казалось вначале. Но что-то в мире неуловимо менялось, как меняется небо перед закатом. Мы не замечали этого движения истории и времени, мы были молоды и наивны. У нас была большая и дружная семья: трое детей и мать, женщина-героиня. Отца я никогда не знала, родилась уже когда он покинул нас: в тот год началась Первая Мировая, он поцеловал детей, — Настю и Жору, горячими и сухими губами, открыл калитку, которая протяжно и звонко скрипнула, и привычным жестом махнув рукой, зашагал по дороге куда-то в туманное, росистое утро. И еще долго в тишине поднималось солнце — палящее и пугающе огромное. Они стояли на крыльце: мама, совсем еще молодая, натянуто улыбаясь, с голубыми венками на висках, сквозь тонкую, нежно-молочную кожу, со старой шерстяной шалью на плечах, и мои брат и сестра — заспанные, заплаканные и испуганные до смерти.

А через девять месяцев родилась я. Мама долго смотрела на меня, недоверчиво, с опаской, — такая я была маленькая и хрупкая. А когда ее спросили: «Как назовешь-то?», она грустно улыбнулась и ответила: «Как, как. Шуркой назову. В честь отца».

Прошло время, мы все изменились, особенно мама. Из той хрупкой девушки, которая говорила тихо и ходила беззвучно, как котенок, она превратилась в громогласную хозяйку дома. Из-за переживаний она рано поседела, но это ничего, это придавало ей какую-то особенно печальную красоту, и особенно выразителен и суров был излом ее густых бровей. Настя росла точь-в-точь похожей на маму: те же глаза, тот же серьезный взгляд. Мне казалось, это все из-за отца: Настя слишком хорошо его помнила, и вечерами, когда мама в изнеможении уходила спать, притворяя за собой тяжелую дверь в избу, Настя шептала нам истории о папе, полные любви и слез. Точнее так, — она шептала, и голос ее едва уловимо дрожал, а иногда она останавливалась и вздыхала, тогда мне казалось: у Насти большой ком в горле, ком из любви и слез.

Потом сестра вышла замуж и покинула нас, а домашние хлопоты легли на мои плечи. Мне тогда исполнилось тринадцать, и дела наши были

незавидны. Тогда Жорик решил ехать в город — зарабатывать. Помню тот день, когда он уезжал. Красивый рослый парень, мой брат, названный Григорием в честь деда, плакал безнадежно и горестно, плакал сидя на полу, уткнувшись в мамины колени, сжимая дрожащими пальцами подол ее юбки. Мама целовала его мокрый от пота затылок и отговаривала ехать. Но Жорик только качал головой, стиснув зубы и не переставая реветь.

Я глядела на все это через расщелину в двери и почему-то гордилась братом, который казался мне таким взрослым и сильным, каким не может быть никто в шестнадцать лет.

Когда Жорик уехал, стало еще труднее — мы с мамой остались вдвоем. Все чаще я стала замечать мозоли на своих руках, под ногтями у меня всегда была грязь, да и вообще я была чумазым, некрасивым ребенком. Жили мы впроголодь, что и говорить об одежде — мамина юбка, темно-коричневого, землистого цвета была настолько изношена, что просвечивалась, как марля. Мама стеснялась этого и без конца подшивала какие-то подкладки из старых тряпок, что мы находили в сарае.

По вечерам, когда солнце лишь нежно грело, на небе зажигались первые звезды, отражаясь в капельках вечерней росы, деревня затихала, убаюканная воем беспокойной собаки. Я садилась на лавку возле калитки и, поджав под себя озябшие ноги, слушала, как где-то за лесом идут поезда. Слушала, глядела в даль, и даже не моргала.

* * *

Иногда я умоляла тебя: «Бабушка, пожалуйста, хотя бы моргни. Опusti ресницы, закрой глаза и взгляни на меня снова, пожалуйста, взгляни. Бабушка, это же не сложно». Иногда мне казалось, ты не дышишь, тогда я тоже переставала дышать и слушала тебя, склонившись над твоим лицом. Так проходили часы. Твое присутствие в доме, точнее — *полуприсутствие*, пугало меня, делало весь остальной мир кроме твоей комнаты каким-то нереальным. Здесь каждая минута жизни, каждый твой вдох, каждый беглый, неосознанный взгляд — все было дорого. Я боялась отойти от твоей постели, — боялась, что ты не сможешь без теплоты моих рук. Иногда я даже засыпала возле тебя, положив голову на край измятой подушки.

Так проходили минуты, часы, дни. Наступила весна. Однажды по пути в школу, а ты знаешь, ба, я всегда ходила в школу пешком, даже в самый лютый мороз. Но в тот день все было

по-другому: на полпути я скинула куртку и шарф, а шапку, связанную тобой, уж прости, я никогда не носила, признаюсь: я снимала ее сразу же за углом и кидала в сумку, как это делают ребяташки в начальных классах. Как по-детски это было! Теперь ношу. Она греет.

В тот день вышла из дома и обнаружила, что чудовищно опаздываю. По обыкновению своему, стянула ту самую, злополучную шапку и, не глядя, кинула в сумку. Промахнулась. Не знаю, как так вышло, но это и было то важное, что случилось со мной в тот день, раньше мне казалось — самое важное в жизни. А всего лишь — уронила шапку. Я ее уронила, а Стас поднял и крикнул: «Эй, шапка!». В одну секунду в этом мире, ограниченном несколькими сотнями метров пронесся ветер, распугав голубей над павильоном метро, вырвав газету из рук прохожего в черном демисезонном плаще, перемешав запахи свежей выпечки, мужского одеколona и затхлости метро. Я обернулась.

Так началась весна.

Я никогда не делилась с тобой секретами, не разговаривала на личные темы. Мы не были близки в этом плане. Но той весной я много говорила, вздохнула. Иногда забывая, что ты не слушаешь меня или даже не понимаешь. Мне важно было просто произносить вслух те слова, чтобы они оседали на полках и оконных рамах, подобно пыли. Может быть, помнишь, ба? Как-то я принесла лилии, поставила на столик возле твоей кровати. Комната, превращенная заботливыми руками мамы в музей имени тебя, в музей прошлого, забытого, ушедшего навсегда, наполнилась таким живым ароматом цветов, которые смотрелись даже жутковато среди всей этой пыли, выцветших фотокарточек и почерневших икон. Я села рядом: «Ба, смотри, какая красота — настоящие, белые лилии! Стас подарил! А как он смотрел! А какой он высокий, ба, и руки такие большие, что вся моя голова в них умещается!» И засмеялась сама с собой, не замечая, что ты смотришь на меня как будто с укором, недоверчиво как-то.

Лилии завяли через пару дней.

* * *

Весна тридцать шестого стала для меня особенной — Сережа предложил выйти за него. Я знала, что так будет: мы росли вместе, он часто помогал нам по хозяйству, когда Жорик уехал. Мы любили проводить время вместе, вообще много гуляли, бродили по лесу. Вечерами, когда туман такой густой, что, вдыхая, можно почувствовать его на языке, а одежда мгновенно

пропитывается сыростью, как толькоходишь в туман, — такими вечерами мы сидели на плотине, глядя, как чернеет небо и вода, как шелестят камышами озерные птицы, и изредка, беспокойно выпархивают из своих гнезд, как где-то за спиной, в лесу, ухаает сова и идет, идет куда-то бесконечно в даль поезд, и от колес его едва ощутимая дрожь земли. Мы разговаривали в полголоса, чувствуя себя немножко гостями здесь, в это время, в тот вечер. Да и вообще, если говорить по-честному, в те годы это стало привычкой — разговаривать тихо, чтобы никто чужой не услышал. Каждый день поезд с Севера приносил страшные вести из города — кто-то где-то пропал, кто-то повесился, кого-то убили. Но что сказать, мы были молоды и влюблены, и дела нам не было до «кого-то», да и до политики, впрочем, тоже. Мы все больше говорили о нас, о будущем, о детях. Сережа часто любил повторять: «Эх, Шурка, какие у нас с тобой детки будут! Не детки, а сахар!». Я лишь только краснела и отводила взгляд, Сережа, смеясь, целовал меня в щеки: «Красавица ты у меня, Шурка!». А я и правда красавицей была, веришь? Нет, что сейчас — совсем ничего не осталось от меня, фотокарточки даже не осталось, показать бы тебе, гордилась бы бабкой своей. Была у меня фотокарточка одна, жаль, черно-белая, не видно, какие глаза у меня были синие — как васильки в полях, а волосы — цвета пшеницы. Я эту фотокарточку Сереже отдала, когда его забирали. Он ее всегда у самого сердца носил, все годы нашей разлуки, а потом затерялась она, и совсем пропала.

Но тогда ни о какой разлуке и речи не было — наоборот, в один из таких тихих наших, уединенных вечеров, Сережа сказал: «Шурка, а выходи за меня замуж. А то что мы с тобой, как неприкаянные, уже и слухи по деревне пошли, мол, Сережка-то Шурке голову дурит». Я по обыкновению своему отвела глаза и покраснела. «Шурк, Шурк, ну ты чего?» — Сережа обнял за плечи. Я же улыбалась смущенно и плакала немного, но то были слезы счастья.

* * *

Я никогда не рассуждала о счастье, о любви, о смысле жизни — мне казалось, что я еще слишком мала для этого. Когда ты заболела, ба, только тогда я стала задумываться над такими вещами. И понимать. Иногда я делилась мыслями с тобой, и мне казалось, ты слушаешь, просто очень внимательно — не перебивая, не отводя глаз, почти не дыша. Наверное, ты знала ответы на все мои вопросы, ведь чтобы найти их, нужно пре-

одолеть, потерять, пережить, приобрести, полюбить и возненавидеть. Я знала наверняка, я видела это в твоих бесцветных от времени и глубоких, как время, глазах — у тебя все это было, а у меня — есть. У меня была любовь, и я была счастлива, и каждый раз, заходя к тебе, пыталась сделать скорбный вид, прятала сияющие глаза, стыдясь своего счастья, ведь твое горе было в сотни раз сильнее. Что значит какое-то *счастьишко* по сравнению с немощью, старостью, смертью?

В какой-то момент я даже перестала рассказывать тебе про Стаса, думая о том, как бы ты не стала ревновать. Но чувства мои были столь сильны, что я не могла не говорить о них, и все время хотелось повторять его имя, по всяким пустякам, упоминать как будто случайно в разговоре, или попросту не говорить о том, что его не касается. Жутко тяжело было сдерживать себя, тогда я решила просто поменьше бывать с тобой. Наверное, чувствовала себя виноватой.

А тем временем, пока в твоей комнате ничего не менялось, разве что пыли становилось все больше, и все жарче было от свечей перед иконами, пока весь твой мир, угловатый и тесный, оставался неподвижным, я постоянно спешила на свидания, строила планы, стремилась вперед.

* * *

Милая, никогда не загадывай наперед — это часто кончается печально. Мы с Сережей мечтали о собственном доме, о большом и крепком хозяйстве. Мы стремились к этому, работали усердно — Сережа в колхозе, бригадиром, а я следила за домом и за Тонечкой, которой тогда исполнился годик, помогала стареющей маме. А, уложив дочку, мы с Сережей ходили на наш мост, где ничего не менялось, и время как будто бы застыло в нашем детстве. На том мосту, мы были, как и прежде молоды, влюблены, только вот уставать стали больше и все чаще тяжело вздыхали, мечтая о лучшей жизни. Хотя что уж там, — все наше поколение, дети Первой Мировой, знало о хорошей жизни лишь по сказкам, да по долгим, монотонным историям бабок, давно выживших из ума. Они вздыхали и плакали о прошлом, и хриплыми, изношенными голосами рассказывали нам, как хорошо жилось тогда. Мы слушали с замиранием сердца и все время мечтали жить в одной из таких историй. Но время не повернуть вспять и настоящая, правдивая история уже определила наше будущее — оно мчалось на нас неотвратно, как поезд с Севера, который все время грохотал за лесом.

Однажды с такого поезда сошел человек, он был невысокого роста, с приглаженными седо-

ватыми волосами и хмурыми, недоверчивыми глазами, одет был просто, но аккуратно — явно не деревенский. Человек постоял на перроне, ища кого-то глазами, а потом растворился в толпе. Через несколько часов он был у нас в деревне, и мы узнали — человек этот был комиссар, приехавший, чтобы разрушить нашу судьбу, нашу историю, чтобы изменить привычный ход времени. Сказать по правде, и до его приезда дела в нашей деревне шли неважно: слухи о скорых репрессиях и арестах сделали людей подозрительными и скрытными. Была у нас соседка, Женька, она жила в большом доме на самом краю села с двумя сыновьями, растила их, как и моя мать, без отца. Таким, как мы, старались помогать всем миром — кто из мужиков крышу починит, кто детей за обедом накормит или молоком угостит. Но Женьке доброй помощи было мало, однажды она повязала на голову красный платок и пошла по селу, стуча во все двери, и все трясла перед носами односельчан какой-то бумагой и кричала, что они, кулаки проклятые, не имеют права, а она почему-то имеет. Женька собрала в своем большом доме на краю села горы всякой утвари и несколько мешков с хлебом. Невозможно передать, что творилось тогда в селе, как мы ненавидели Женьку и ее неизменно красный платок, как мы ненавидели этот командный тон, грубоватый, почти мужской голос, как мы боялись настойчивого, упрямого стука в дверь и знали — если не открыть, будет только хуже. Но скажу еще кое-что: я никогда не осуждала ее, в те годы каждый выживал, как мог, и главное было — выжить. Женька зажила, как царица, добилась, чего хотела. Только спустя годы, спустя долгие, залитые кровью и слезами годы, Бог все-таки наказал ее: любимые сыновья запили и выгнали старушку из большого дома. Она поселилась в халупе за оврагом, где по ночам выли волки, и ветер постоянно распахивал все окна и свистел за окном. Недолго выдержало ее сердце, совсем высохшее от злобы и тоски, одинокое и хрупкое, как осенний лист. Хоронили ее дети и внуки тех, кого она унижала и ненавидела.

Но это будет потом, а пока мы и не догадывались, что все образуется: нас всех занимали тяжелые мысли и тяжелые известия. Комиссар поселился у Женьки, совсем рядом с нами. Мы часто сталкивались с ним у колодца, и я всегда отводила глаза, как собака, которая чувствует опасность, а он же наоборот — заговаривал, спрашивал, что да как, пытался узнать что-то про Сережу. Все говорил, какая я красавица, хотя мне казалось, это было не так — до того я исхудала за это время, до того износилась моя оде-

жда. Но комиссар все твердил свое, такое внимание пугало, я краснела, делая вид, что не слышу. Тогда он подходил так близко, что я чувствовала на своей коже его горячие слова, и внутри все сжималось — вся моя злоба, вся моя тоска, вся моя ненависть — в один комок. Хотелось убить его или умереть самой. Однажды он подошел совсем близко и совсем грязными были его слова. Я почувствовала жар на его сухих губах, я не смогла не ответить, ком внутри разорвался, комиссар ударил меня. Сережи не было рядом, и я не смела рассказать ему об этом, боялась, как бы не вышло у них ссоры. Комиссар сказал тогда: «Эх, я бы вас, товарищ Туманова, по-другому бы наказал за такие вот ответы, да полномочий нет. Ну ничего, ничего, что-нибудь придумаем».

Через две недели Сережу забрали. Кто-то постучал ночью в окно. Сережа сразу вскочил, спали мы очень чутко, прислушался: «Шурка, Шурка, спишь?» — шепотом, чтобы Тонечку не разбудить. Я уже не спала, лежала с открытыми глазами, уставившись в потолок, вся в холодном поту, и молилась, чтобы это был сон, впервые за много лет молилась. Стук повторился. «Шурка, надо открывать», — Сережа приоткрыл дверь и сразу же исчез в темноте ночи. Я вскочила и выбежала на крыльцо, задыхаясь: «Сережа, Сережа», голос дрожал, и вся я дрожала изнутри. Едва различимый шепот в темноте за сараем и отчетливое, незнакомое, страшное слово, которое перечеркнуло мою жизнь: «Собирайтесь». Он даже не попрощался с дочкой, решил не будить ее, просто поцеловал в лоб и ушел вместе с ними, с теми черными людьми, чьи лица я не могла различить во тьме. Я до утра плакала в саду на промерзшей земле.

* * *

Через пару недель сошел снег. Бабушка, помнишь ли ты, что такое весна? Помнишь ли ты эти дни, когда сходил снег, много лет назад и не здесь? Знаешь ли ты, что земля остается промерзшей еще немного, и если потрогать ее ладонью, то, кажется, что ты чувствуешь, как подо льдом бьется сердце Земли, гигантское сердце, которое согреет любого и всех, кто притронется к земле ладонью? В день, когда ты умерла, я прижималась к земле всем телом, я пыталась согреться, растопить лед своими слезами. Меня не было рядом, когда это случилось, — мы со Стасом медленно ходили вокруг озера с тонкой, как кожа старика, корочкой льда и взъерошенными утками. Мы ходили молча, и, я уверена, я почти это знаю — каждый думал о своем. Ба, можешь

мне не верить, но я думала о тебе. О том, что нам предстоит пережить. Только не думала, что это, самое страшное на свете, самое невыносимое и неотвратимое, происходит, быть может, прямо в эту минуту. Нет, я не думала об этом. Смерть все еще была для меня чем-то абстрактным. Любовь, вот что тогда было осязаемо. Любимы были его ладони и пальцы, холодные на кончиках, любимы были плечи и длинный шарф, уютно лежащий на них, любимы были взъерошенные от холодного мартовского ветра волосы. Любимы были слова о любви, слова ни о чем по сути. Мы много говорили ни о чем, но тогда это казалось самым важным на свете.

— Здесь сбываются желания, — сказал Стас, остановившись и указав на маленький фонтан, покрытый изморозью, с ледяной, ленивой водой. — На, держи монетку, загадывай и кидай. Только загадывай что-то важное.

— Очень важное?

— Самое важное на свете, а иначе не сбудется, — улыбнулся он и обнял меня. Тогда для меня самым важным был он. Бабушка, почему я не вспомнила о тебе? Почему не загадала еще хоть пару дней для тебя, здесь, рядом с нами? Я все время вспоминаю тот миг и звон монетки о бортик фонтана: «Хочу быть всегда со Стасом». «Хочу быть всегда со Стасом». И ни слова о тебе, ни мысли. Может в тот миг, когда монетка ударилась о гранит и исчезла в темной воде, в тот самый миг ты и умерла. Но ты должна кое-что знать — желание мое так и не исполнилось. Потому что это не было самым важным. Я ошиблась.

* * *

Я думала, что смогу без Сережи, но я ошибалась. В ту ночь, когда его увели, я много плакала, вся земля наполнилась слезами, а под утро слезы остались на траве росой. Я встала и, шатаясь, дошла до крыльца. Постояла, оглядываясь, понимая, что мир почему-то не изменился — все такой же рассвет, все тот же колодец за оградой, скамейка под яблоней и дым из печных труб. Петухи поют, где-то брешет пес. Крыльцо все то же, все та же скрипучая дверь. И тогда, как бы это ни было предательски, я подумала: «Все обойдется, Шура, все обойдется». Хотя раньше мне казалось — без Сережи нет нашей семьи, нет меня, нет целой жизни, мне казалось: без Сережи рухнет наш дом, а вместе с ним и весь мир, и сердце мое остановится. Но в тот день что-то изменилось: я встала, что-то глубоко во мне помогло встать. Я молилась, но не знаю кому и зачем. Просто говорила сама с собой, что-

бы не быть одной, чтобы с каждым произнесенным словом вдыхать воздух, чтобы чувствовать, что мое сердце все еще бьется, особенно громко в утренней тишине.

Я тихо прошла в избу, постояла немного над Тониной кроватью: дочка спала, серьезно нахмурилась бровки, и изредка вздрагивала, как будто от холода. Я укрыла ее пледом и, одевшись, вышла во двор, все повторяя: «Все получится, Шура, все будет хорошо».

Я повторяла это, даже когда стало совсем невыносимо, когда по деревне поползли сплетни, обо мне и комиссаре, который, после отъезда Сережи, совсем распустился, так, что при всех мог ударить меня или грязно пошутить. Соседки смеялись: «Вон, смотри-ка, наша Шурка мужа в лагерь спланила, а сама-то, сама!». Все это было на глазах Тонечки, которая не понимала еще, но уже чувствовала, что происходит что-то нехорошее. Все чаще спрашивала меня: «Где папа?». Что я могла ответить? Я только опускала глаза, чтобы моя девочка не видела наворачивающихся слез.

Так прошло лето. Оно было жарким, неурожайным и пыльным. Над проселочными дорогами вечно висело серое облако — это пылила машина комиссара и тех, кто был с ним заодно. Они зачастили к нам в деревню с допросами и обысками, приходили в мой дом, рылись в сундуках, комиссар стоял в дверях и усмеялся, порой отпуская такие шуточки, что если бы не дочь, я бы бросилась и расцарапала ему лицо. Но я молчала, глядя в пол, повторяя про себя только одно слово: «Уходите. Уходите». Закончив обыск, они садились в машину и уезжали, поднимая такую пыль. Она летела в окна, оседая на столе и полках, сколько я не билась, она была повсюду. Весь дом стал пыльным и ветхим. В одном я была права — без Сережи наш дом рухнул. Рухнул раз и навсегда.

Зимой я решила покинуть его.

* * *

Я долго рылась по карманам в поисках ключа — было уже совсем поздно, папа спит, наверное. Проснувшись от звонка, рассердится, будет острить насчет Стаса. А ведь я и правда припозднилась — на улице стало совсем темно, и только небо, холодное мартовское небо, укутанное в дымные облака, сияло над головой. А на земле, прямо здесь, у этого подъезда с козырьком, под которым уютно светит лампа над тяжелой, скрипучей дверью, всего лишь минуту назад стояли мы со Стасом, и он согревал мои замерзшие пальцы своим дыханием. Мы и не

смотрели наверх, и не думали ни о чем, а ты была уже там, бабушка. Там, высоко в сияющем небе.

Я все-таки позвонила в дверь. Вся квартира была озарена светом — теплым, желтым. И было совсем тихо. Никто не сказал мне ни слова. Только мама тихонько тронула за плечо и опустила глаза.

— Мам, — протянула я, — что случилось? Вы чего не спите еще?

Молчание.

— Мам?

— Бабушка умерла. — Тихо так сказала, без надрыва и слез. Почти спокойно.

В тот вечер мы больше не говорили. Мама занавесила все зеркала и жгла, жгла свечи без конца, как будто это могло вернуть тебя нам. Папа все время курил у окна, пряча от нас слезы. Папа, я же знаю, ты плакал, ведь вместе с бабушкой туда, в небо, уходило твое детство, твоя память. И зажигались звезды.

Странно, но я в тот вечер не плакала даже, просто сидела в пустой и жаркой комнате, молчала, глядя в пламя свеч. Там, за стеной, была ты, как будто бы была. *Но тебя ведь уже не было.*

Помню, когда-то давно ты говорила мне: «Не плачь, милая, не плачь, ласточка, береги слезы — они тебе еще пригодятся». Но я не слушала, я плакала все время — когда разбивала коленку и из-за ссор с родителями, из-за неразделенной любви и грустного фильма. Тогда же не могла выдать из себя ни слезинки, чувствовала, как некрасиво, судорожно кривятся губы, как к горлу подступает комок, но плакать не могла. Не хотелось.

Не знаю, сколько прошло времени. В коридоре было темно, кухня заполнена горьковатой и сумрачной дымкой — папа все время курил. Не переставая. Телефон молчал, и только в прихожей все время были слышны тихие шаги: мама подходила к двери моей комнаты, прислушивалась, все ли со мной в порядке, но делала это больше для себя, чтобы отвлечься.

Вдруг, в такую страшную тишину раздался телефонный звонок. Я вздрогнула и быстро взяла трубку.

— Привет, милая, — сказал Стас, — я добрался. Как ты? — В другое время я была бы жутко рада этому звонку, стала бы беззастенчиво выкладывать все новости, все свои мысли. Теперь же я молчала.

— Эй, — протянул Стас, — ты чего там?

— Стас. Бабушка. Умерла, — медленно выговорила я, сама еще в это не веря. И вдруг я заплакала. «Бабушка умерла» — эти слова тяже-

лым грузом легли на плечи, придавив к полу, заставляя плакать все сильнее и сильнее.

Стас молчал, я все повторяла, уже совсем сбивчиво, задыхаясь. Слова тонули в слезах, стекали по щекам чернильными разводами, я вытирала разводы ладонями — они становились солеными. Мне казалось, обои в моей комнате вздулись от слез, казалось, что слезы капают с потолка, и вокруг люстры расплывается огромное, горькое, чернильное пятно. «Бабушка. Умерла. Умерла. Умерла».

Через несколько минут, после долгого молчания, Стас тихо и робко сказал: «Ну, знаешь. Все мы умрем». Он хотел сказать еще что-то, но не успел — я повесила трубку.

* * *

В ноябре грянули холода. Небо заволочло морозно-дымчатыми тучами, ветер клонил голубоватые травы к земле, гулял в опустевших полях. Тонечка, шедшая рядом со мной, куталась в старый платок и крепко-крепко держала мою руку. Мы шли к моей сестре, быть может, в последний раз вместе. Я гнала от себя эти мысли, я хотела думать о хорошем, о лучшем будущем, пусть не для меня, но для моей девочки, но небольшая, нетяжелая сумка с детскими вещами горькой ношей тянула вниз. Хотелось развернуться и уехать — вместе с дочкой. Но я должна была ехать одна, оставляя ее здесь, в пустеющей деревне, которая скоро совсем скроется под снегом.

Настя развешивала белье перед крыльцом — застиранные до серости простыни и наволочки. Она была чем-то очень взволнована. Увидев, что мы пришли, она бросила в таз влажную простынь и принялась целовать меня и Тонечку: «Боже мой, Боже ты мой! — повторяла она, — с вами все в порядке! Слава Богу!»; «Что? Что, Настя, что такое?» Она сжала мои ладони в своих и с минуту пристально смотрела в глаза. Я вдруг заметила, как постарела моя сестра, как грустно и устало смотрели ее глаза, прядь седых волос выбилась из-под косынки. Наконец Настя тихо сказала: «Комиссар приходил».

Оказалось, комиссар угрожал и моей сестре, единственной, кто остался со мной после того, как Сережу забрали, после того, как все отвернулись от меня, насмехаясь за спиной: «Комиссарская шавка!». Настя рассказывала все это так тихо, еле слышно, — она была напугана до смерти и я даже не знала, как сказать, зачем пришла, зачем у меня в руках сумка с Тонечкиными вещами.

— Шурка, если бы папа был здесь, если бы он был жив, — вдруг заплакала она, — все было бы

хорошо! Если бы только наш папа был жив, и все было бы как раньше! А теперь, что нам делать теперь?

Я молчала. Что я могла сказать тогда? Разве что:

— Уезжать, милая.

Это я и сказала.

Настя была поражена новостью о моем отъезде, долго и слезно уговаривала остаться, пока, наконец, не поняла, что это бесполезно.

— Присмотришь за Тоней? — спросила я.

Просить было тяжело и неловко, Настя долго молчала, вздыхала и отводила взгляд. У нее было трое своих детей, младшему из которых только исполнился годик. Я знала: Настя выбывается из сил, знала и о том, что скоро зима, и топить станет нечем, и мои родные будут жечь сырую солому из опустевшего коровника, а потом быть может и старую мебель. Сердце от этих мыслей рвалось, и было невыносимо, но я знала: другого выхода нет. Я распрощалась с Настей, долго обнимала Тонечку, гладила по мягким волосам. Скоро ли увижу свою девочку?

К вечеру похолодало. Настя затопила печь — в избе стало дымно, окошки запотели, потекли тонкими струйками, причудливо извитыми. Настя уложила детей на высокой кровати — они быстро уснули в тепле, у печки. Постояв над ними, невольно улыбаясь, мы вышли из дома, сразу в ноябрьский холод и ночь. Я почувствовала, как Настя вздрогнула, я обняла сестру за плечи, и увидела ее глаза, полные слез, укора и тоски.

— Матерь Божья, спаси нас, помоги нам, моли Бога о нас, — зашептала Настя, и слова полетели в небо, вместе с дымом из трубы и искрами, теряясь в ночной тьме.

Здравствуй, Настена.

Вот я и пишу, как обещала. Работаю на заводе, денег хватает, — не волнуйся. Не голодаете там? О Сереже нет новостей? Скоро приеду сама, заберу Тонечку, а пока посылаю вам кое-какие вещи, гостиницы для тебя и ребят. Берегите себя, и храни вас Господь.

Шура.

Война сломала все, разбила надежды, порвала все нити, которые тянулись домой. Проработав на заводе почти полгода, я копила деньги, я все время носила их с собой, зашитыми в пояс нижней рубашки. Я тряслась над ними, не спала по ночам в неудобной комнате, которую делила с шестью женщинами, такими же испуганными, как и я. Долгими зимними ночами, когда окна леденели от мороза и грязно-желтые стены ды-

шали холодом, я куталась в одеяло с головой, дышала ртом, чтобы согреться, и все время вспоминала тот вечер, когда покинула родной дом, дымку, пахнувшую дровами, запотевшие окна в избе, раскрасневшееся Настино лицо и спящую Тонечку.

Потом я вспоминала Сережу, о котором вот уже четвертый год не было никаких вестей. И все же, в каждом своем письме домой, я спрашивала о нем, хоть совсем не ждала никаких новостей. Честно сказать, за эти годы я свыклась с мыслью, что нет моего Сережи на свете, и все, что раньше было так дорого, — его внимательные глаза, теплота его рук, наши вечера на мосту и его робкое предложение, — все стало забываться. Помню, каким он был сосредоточенным и счастливым, когда впервые взял на руки Тонечку, — она была совсем крошечной, когда родилась, у Сережи от волнения тряслись руки: «Посмотри, Шурик, посмотри, какая она красивая!» — восклицал Сережа, глаз не сводя с новорожденной дочки. Как мы были счастливы тогда. И все это теперь забывалось, и я все время стыдилась этого чувства, мне казалось, я предаю его, предаю свое прошлое, то, что было дорого, дороже всего на свете. А теперь главное было — выжить. И когда началась война, я уже не думала, не вспоминала, ведь воспоминания не грели, наоборот, — от них становилось невыносимо холодно и обидно до слез. Я перестала плакать, я перестала писать письма домой, хотя должна была, конечно, я должна была писать письма, каждый день сообщать, что жива, узнавать, как там моя девочка, успокаивать бедную сестру, спрашивать о Сереже. Но не было сил.

На заводе, куда нас перевели с началом войны, мы собирали боеприпасы для фронта. В огромные, неподъемные, холодные тела своими руками вкладывали душу — разрывной снаряд. И я знаю, почему мы победили, — врагам на головы каждый день падали наши бомбы, — наш гнев, наша боль, наша ненависть и отчаяние. Ведь вместе со снарядом мы вкладывали туда и это. И еще немного глухой надежды, которая пеплом покрывала опаленную землю.

* * *

Твоя смерть заполнила квартиру, дышать стало невозможно, оставалось только выйти из дома, и, лишь сделав шаг, вздрогнуть от того, как громко хлопнула дверь за спиной. И кажется, обернешься, а там лишь обломки нашего старого дома, цветные фотографии — летние, яркие, за минуту пожелтевшие, превратившиеся в

пепел. Я не увижу среди руин родителей, не увижу наше прошлое и свое детство, лишь себя — постаревшую лет на шестьдесят, поседевшую от горя, ставшую совсем как ты. Я бы хотела стать, как ты, уйти с тобой, но мне страшно.

И я лишь ухожу из дома, бессильно сажусь на скамейке во дворе и бессильно реву. «Все мы умрем, Оленька. Все умрем».

А к подъезду подъезжает скорая без мигалок.

* * *

В феврале сорок второго мне исполнилось двадцать четыре, это еще совсем юность, ведь так? Но тогда мне казалось, что жизнь моя прожита, что потеряно все самое дорогое, все то, из чего и состояла моя прошлая жизнь. Вокруг была война, были бессонные изматывающие ночи, были ежедневные сводки с фронта, которые слушали, затаив дыхание. И никакого просвета, лишь только руки с каждым днем грубели, становились тоньше, тоньше — они стали тонкими, как у ребенка, и сухими, как у старухи. Я боялась, что, когда приеду к своей девочке, она не узнает меня, не даст прикоснуться к ней такими страшными, старыми руками. В своих тяжелых, тревожных снах я видела, как тянусь к ней, а она в испуге прячется за сестру. Я видела себя со стороны — в изодранном платке, из-под которого неряшливо выбивается прядь седых волос, с грустными коровьими глазами. Иногда становилось страшно, но чаще — было все равно. Война задушила страх, притупила боль.

Так я и жила, пока однажды ночью за дверью не раздался грохот, потом — громкая ругань. Кричал старый Семен, спавший в длинном коридоре, на железных нарах, среди старых тазов, брошенных игрушек, обшарпанной мебели, которую скоро разберут на дрова. Я и мои соседки сразу выскочили в коридор. Света не было. Семен сидел на своих нарах и тихо матерился, гневно потрясая в воздухе палкой. Рядом стоял высокий мужчина, в форме. Все как-то оробели, молча, боязливо, оглядывали гостя. А потом включили свет.

И все осветилось — барачный коридор, некрашенный, щербатый пол, ряд скрипучих фанерных дверей, распахнутых настежь, десятки взволнованных глаз — заспанных, заплаканных, усталых; голые худые руки, белье на веревках, тусклые тени, замасленный светильник. И он, — в форме, с вещмешком через плечо, принесший мороз с улицы, на заледенелых ресницах принесший тайну и надежду.

— Доброй ночи, простите, что разбудил вас всех, — смущенно, ласково и просто, — меня зо-

вут Юрий Васильевич. Я к вам жить, — и улыбнулся.

Вот и все, отлегло от сердца.

Мы ничего не знали о нем, но было спокойно. Он тихо жил за стеной, ворочаясь ночами на кровати, — я слышала это: он вставал, ходил по комнате, рамы скрипели — он открывал окно, курил, присев на низкий подоконник, вдыхая чистый морозный воздух, выдыхая — дым. Я не знаю, о чем он думал, — я думала о нем. Впервые за четыре года я осмелилась поднять на кого-то свои испуганные глаза. Он же смотрел всегда прямо в глаза, ласково и страстно.

В Юрия Васильевича невозможно было не влюбиться, — спокойный и трезвый, — трезвый не в том смысле, что не пил, а в том, что сохранил себя среди похоронок, среди тревог и артобстрелов, среди рвущихся снарядов, в голод, в стужу, в этот страшный первый год войны — ведь многие сходили с ума, а он держался среди этого безумия. Только на щеке, как след от слезы, как траурная лента, навечно остался шрам, по которому хотелось провести ладонью, прикоснуться к памяти.

— Доброе утро, Шурочка, — говорил он мне, когда мы сталкивались на кухне пронзительно-холодным утром, — я вам ночью не мешал спать? Которую ночь уже не спится мне, — и вдруг он как-то мертвенно погрузнел. Я не знала, что ответить, я боялась его откровенности и в то же время невозможно ее хотела, — простой человеческой откровенности и теплоты.

— Нет, Юрий Васильевич, совсем не мешаете. Сплю как убитая.

Это, конечно, было не так, каждую ночь я слушала его нервные шаги, повторяя шепотом его имя «Юра, Юрочка» и чувствуя, как внутри странно теплеет.

— Ну хорошо. А то приходите ко мне, если заскучаете.

День прошел в тумане, и вот, ночь, и я с замиранием сердца, едва прислушивалась к шорохам за дверью, — я знала их наизусть, я могла отличить его шаги от всех остальных. Вот скрипнула кровать, — он встал, прошелся по комнате, остановившись у окна, неподвижно. Все стихло. Я открыла дверь.

— Это ты, — все, что сказал он, и слова эти облачком пара растворились в морозном воздухе.

Юра сидел на подоконнике и был необыкновенно бледен, — снежное сияние скользило по его лицу, он был похож на Кая из сказки про Снежную Королеву. За окном была такая обыч-

ная зимняя ночь, бледный фонарь горел, утопая в снегу, освещая барак с высоким крыльцом, забытую куклу с вывихнутой рукой. Небо было высоко и чисто — таким оно было всегда до войны, теперь же — все чаще вместо неба — дым, и в воздухе пахнет порохом и гарью. Той ночью через открытое окно сияние проникало в комнату, и воздух был свеж и пах снегом, деревом, будущей весной, грибными дождями, спелыми яблоками.

Юра обнимал меня крепко, как будто в судороге, я чувствовала, как болезненно быстро бьется его сердце, как все тело его пронзает дрожью, и каждое движение отдавалось во мне горечью и тоской. Мне хотелось спасти его, согреть. Я целовала его глаза, его холодный лоб и горячие пальцы, целовала совсем мальчишеские, хрупкие ключицы.

Утром, когда сияние рассеялось, и сквозь дымку, сквозь морозные окна проступила наша широкая пустынная улица, по которой мело колким, сухим снегом, Юра так некстати стал рассказывать про свою жену Анюту, — пышногрудую красавицу с высоким и гладким лбом, — такой она была, когда Юра видел ее в последний раз.

— Теперь мою Анюту не узнать, наверное, — сказал он, закуривая, — писем нету от нее. Кто знает, может, умерла.

Последние слова повисли в воздухе вопросом ли, или ответом на вопрос, почему не пишет своему мужу красавица Анюта. Никакой боли, никакой ревности я не чувствовала — лишь тоску по прошлому, по такому родному, такому простому, васильку моему, Сереже.

— А у тебя был муж?

— Был. Когда-то.

Мы помолчали. А потом он обнял меня за плечи, просто по-человечески:

— Одно горе у нас на двоих с тобой, Шурка.

* * *

Стас не звонил все эти страшные девять дней, пока мама без конца жгла свечи и запрещала снимать занавески с зеркал, и каждое утро начиналось с кошмарного сна, рассказанного мамой: «Я снова видела ее — она звонила в дверь, хотела войти», «Она стоит на кухне, прямо вот здесь вот, посередине, и вдруг — исчезает, проваливается под пол как будто бы». Мы с папой завтракали молча, стараясь не слушать маму, не пускать в себя этот глупый страх. Все эти разговоры казались мне предательством тебя, так же как и разговоры о любви, о будущем — все то, что мы так любили смаковать со

Стасом, придумывая имена нашим детям и кличку собаке. Какая теперь любовь? Какая теперь весна, какие первые ливни, поцелуи и прогулки по вечернему городу? Твоя смерть стала важнее любви, любая смерть — важнее всего, и жить надо, чтобы помнить или умереть вовсе, отправиться вслед за любимыми.

Так думала я, когда мне не спалось. Лежала, слушая, как за стеной вздыхает мама. Часто, несколько раз за ночь она кричала, — так люди кричат только во сне. Папа тут же будил ее, успокаивал как ребенка, и в квартире опять становилось тихо. Была ли ты с нами тогда? Сидела ли на краю моей постели, была ли во всполохах света на потолке или в дрожащей тени от свечки, в маминых кошмарах, в зеркалах, закрытых занавесками?

Никто не отвечал мне. Я позвонила Стасу, чтобы спросить. Я думала — услышу его голос и станет легче, думала, он объяснит, почему так больно, скажет, что скоро все пройдет. Но теперь он был холоден и молчалив, а я рядом с ним становилась такой же, наивно думая, что он старше, — а значит, умнее меня, что быть безразличным, как он, — это правильно. Когда он взял трубку, я слышала вздох усталости, наш разговор был короток и односложен, я подолгу молчала, подбирая слова.

— Ты сердисься на меня? Что я тогда бросила трубку? Мне просто стало очень обидно, что ты...

— Да нет, не сержусь, малыш.

— А что тогда?

— Я просто немного занят сейчас. Давай позвоню попозже.

Я так много не успела ему рассказать, мне не хватило слов, не хватило времени, чтобы объяснить ему все, что чувствую. Может, он и не понял бы?

В самом конце разговора, когда он, кажется, почти положил трубку, я вдруг громко, из последних сил сказала:

— Стас, я люблю тебя.

— И я тебя, малыш.

Стас больше не позвонил. Странно, но стало легче.

* * *

Юра уехал в тот день, когда я узнала, что у меня будет ребенок. Трудно описать все те чувства, что посещали меня тогда — страх, боль, нежность, надежда, ненависть и безумная, безудержная любовь к моим самым главным мужчинам: Сереже, Юре и сынку, который с того

дня стал Юрочкой. Ночью я не спала — просто лежала, отвернувшись к стене, той самой, которая разделяла и соединяла нас с Юрой. Теперь она была холодна и безмолвна — он уехал. Он не знал, вернется ли, не знал даже, останется ли жив, — просто выполнял приказ. Когда он ушел, я все так же работала, доставая из себя всю свою боль и ненависть и вкладывая их в снаряд — он становился тяжелее. Внутри становилось легче — я уже знала, что делать.

Я привезла Тонечку в Москву, она была совсем худая и слабая, говорила тихо и почти не улыбалась. Всю дорогу обратно я расспрашивала ее, как им жилось, но она ничего не говорила, только обнимала меня и беззвучно плакала. Уже потом она рассказала мне, что часто Настя вдруг начинала плакать, кричать на Тоню и даже бить, что она могла целый день не кормить мою девочку или выгонять за дверь. Все в деревне говорили, что «Настька от горя с ума спятила».

Было больно слушать все это, но я знала — ненавидеть сестру за это нельзя. Я понимала ее. Да и Тоня понимала.

В конце сорок второго года родился Юрочка. Меня перевели работать в контору. Мы стали жить почти хорошо, или мне просто так казалось, ведь я больше не была одинока, и я знала, зачем и для кого я живу. Тонечка повзрослела. Она теперь помогала мне с малышом, разговаривала со мной, подбадривала. Она росла гораздо старше своих лет, впрочем, как и все дети войны, иногда мне казалось, что она понимает все лучше меня. Так мы и жили, и никто нам не был нужен — мы с Тоней вдвоем радовались, когда Юра сказал первое слово, когда сделал первый шаг.

А когда закончилась война, мы радовались уже троим. Первым мирным вечером мы вышли из дома, на улице было много народу, все гуляли, любясь закатным небом. Впервые за четыре года гуляли неспешно и говорили о будущем, строили планы. А потом грянул салют — Юрка заплакал от испуга.

Здравствуй, Настена. Передали конец войне. Мы с Юрочкой скоро приедем к вам. Держитесь. Теперь все будет хорошо.

Твои Шура и Тоня.

Здравствуй, Шуручка. У нас все хорошо, приезжайте скорее. Тут Сережа написал. Жив, здоров, живет на поселении в Макарьеве. Это Костромская обл., зовет тебя и Тоню к себе жить. Приезжайте. Скупаем.

Настя, сестра.

Я получила письмо и долго лежала не шевелясь. Потом, перечитав еще раз, вдруг вскочила и выбежала на улицу, — я бежала что есть сил в одних следках по талому снегу, как сумасшедшая, сжимая письмо в руке. Волосы растрепались на ветру, лицо жег ветер, я спотыкалась, чуть не падая, но бежала, бежала, пока не запыхалась настолько, что пришлось остановиться. Я была на краю поселка — бараки давно закончились, по краям широкой дороги тянулись длинные, давно заброшенные постройки, серые, как эта дорога, как небо над головой, как мои руки и волосы. Я бежала к Сереже, не думая, что путь мой еще очень долг. Я впервые за столько лет плакала, никого не стыдясь, — безудержно и громко, безнадежно и в то же время так сладко, и птицы, что кружились в небе, откликнулись на мой плач.

«Мы ему чужие. Тоня не помнит папу, для Юры он вообще просто «дядя». Даже я, спустя почти десять лет, забыла его лицо и голос. А вдруг я его не узнаю?» — так думала я по дороге в Макарьев. Я уже не ждала этого письма, я даже не обрадовалась ему — напугалась больше. Жизнь до него казалась понятной и знакомой, теперь же мы въезжали в неизвестный, захолустный городок, в котором нас ждал почти чужой, забытый человек, похороненный нами. Кто он теперь? Кто мы ему?

Тоня молчала, Юрочка тоже притих у нее на руках.

— А вдруг он нас не узнает, мам? — тихо сказала Тоня, — а вдруг Юрку не примет?

— Значит, это не наш папа, милая.

Он узнал нас без лишних слов. Шел дождь, когда наш поезд подъехал к перрону. На привокзальной площади, незнакомой и унылой, где ветхие бараки и церковь с заколоченными окнами, где небо такое же серое и люди так же плохо одеты. И все-таки воздух холоден и прозрачен, и после дождя, первого, летнего, мирного дождя дышится легче и вокруг становится как-то празднично, и мелом на каждом доме написано: «Победа! Победа! Победа!». На этой безлюдной площади нас ждал Сережа.

И мы его узнали, и даже Юрка, хотя не видел его ни разу. Сережа ничего не спросил — эта встреча была слишком важна и дорога для нас всех. Лагерь и война научили его не размениваться по мелочам, и Юрку он сразу принял как своего и ни разу не спросил, чей это ребенок, и до конца жизни он звал твоего папу своим сыном.

Сережа был мокрый до нитки, видно стоял здесь с самого утра.

— Давно нас ждешь? — спросила я.

— Давно, Шурик. Десять лет.

Он просто обнял нас и больше никогда не отпустил.

* * *

Когда в квартире нас осталось трое, мы сняли с зеркал занавески, потушили свечи, и тихо открылась дверь в твою старую, запыленную комнату с кроватью без матраса и с письменным столом у окна. Я вытащила из него все ящики и стала перебирать твои бумаги, я вглядывалась в старые фотографии, документы, какие-то вырезки из газет, письма, рисунки — так много всего, вся твоя жизнь в двух ящиках стола. Вот мы с тобой, десять лет назад — мне шесть, а тебе восемьдесят, но ты обнимаешь меня за плечи так нежно, что будто и нет между нами этой разницы. Мы как подружки, и глаза твои по-прежнему синие, как и мои, как и летнее небо над нами, которое не меняется спустя десятки лет, которое по-прежнему, и даже теперь, когда тебя уже нет, — все то же. Синее. В твоей руке моя кукла, и за нашими спинами лето и набережная в Нескучном саду, белые теплоходы, какой-то праздник, может быть День Победы. Мы улыбаемся, и впереди у нас еще так много времени, но теперь я понимаю — десять лет это совсем немного, этого было так мало для нас с тобой, ба.

В синей тетрадке с потертым корешком я нашла твои записи — убористым, мелким почерком ты рассказывала о своем прошлом. Ты писала это для меня, ведь так? Ты знала, что найду ее именно я, что я аккуратно сложу весь твой архив обратно в ящик, а эту тетрадку возьму себе. И никому не расскажу про нее.

На последних страницах ты написала: «Сережа долго и тяжело умирал. Я выплакала все глаза. Его похоронили в деревне. Тяжело к нему ездить из Москвы, далеко. Вот бы лежать рядом с ним». Вот единственная запись, которую я показала родителям.

В деревне было сумрачно и пусто, дороги разбиты и дома заброшены.

— Не сезон, — тихо сказал папа, — летом сюда дачники наедут, хорошо будет. Рыбу будут ловить, шашлыки делать. А теперь — вот как. Межсезонье.

Кладбище, по традиции, находилось на холме, рядом с церковью, от которой, впрочем, остались только стены, потонувшие в горьком бурьяне. Мы долго ходили меж могил — таких

же заброшенных и жутких. Надписи стерлись, даты забылись. Годы жизни, всего лишь даты, целые судьбы, трагедии — вот здесь похоронен младенец, здесь — кто-то совсем молодой, вот дата смерти где-то в пределах четырех страшных лет — война.

С холма была видна вся деревня. Она, как и могилы, заросла цветами, забылась вместе с теми, кто похоронен здесь. Я смотрела бесконечно долго на эти грустные склоны, на взрытые канавы, где раньше были избы, на заброшенные огороды. И ты была здесь, на этой чужой для меня, холодной промерзшей земле. Ты была везде — в шелесте листьев, гонимых по дороге, в гулком ветре над заброшенной церковью, в пустынных полях гладила ладонями травы, ходила неслышно между могил на этом кладбище, остановившись возле одной — той, что утонула уже в репейнике и чертополохе. Ты здесь, у надгробия, любовно тронешь стертую дату, и я не увижу тебя, но почувствую твое дыхание, и где-то вы-

соко над головой закричат птицы и метнутся в небо и верхушки деревьев дрогнут.

И тогда я упаду, я не смогу больше, ба. Я заплачу, ни о нем, ни о себе, и даже не о тебе, милая. Я буду плакать бессильно и горько о прошлом, которое было здесь, которое живет здесь до сих пор, но оно забыто. Здесь нет жизни, как тебя больше нет с нами. Здесь есть только ветер, только луга, что летом наполняются запахом земляники и диких яблок — не для кого. Жизнь идет где-то далеко, и, как и много лет назад, там, за лесом слышен поезд, и лежа на земле, на пахучих травах, можно почувствовать это всем телом. Но поезд всегда проходит мимо, не оставиваясь.

Я буду плакать о тех людях, что лежат здесь, обо всем том, что пережили они. Но ради чего? Я буду плакать ни о своей, а об их любви, я буду слышать тебя, говорить с тобой и чувствовать, как в глубине бьется огромное сердце земли.

И ты в нем.